

**Т**

огда еще ходили трамваи. Двойка — основной для меня маршрут, протяженный, извилистый. Как сядешь у вокзала, так, кажется, и не доедешь. Медленно вагон катит, — светофоры, перекрестки. Летом внутри пыль столбом стоит — пылинки над полом от солнца светятся; зимой — холодно, но свежее. Поднимаешься по ступенькам в полупустой вагон вечером, стряхивая с одежды снег, еще и потопчешься для уверенности. Сядешь у заледенелого окна и подышишь, как в детстве, теплом на морозные узоры, выгревая себе темный на белом кружок для обзора; подышишь старательно, расширяя пространство зрения, округляя его до настоящего окна в мир, потрешь еще пальчиком, выравнивая кромки, — и вот уже улица проезжает мимо тебя, различаешь дома, машины, силуэты людей; словом, можно что-то разглядеть в темноте и сообразить, где ты находишься.

Ехать из конца в конец долго, наврное, нудно, закоулками какими-то, собирая немногочисленных пассажиров с тех мест, где больше ничего не дожидаться, а мне так интересно. Я никуда не спешу, и как-то никогда мне не приходилось спешить. Кому очень надо, тот, конечно, на маршрутке поедет. А меня эти грязные, быстроногие «газели» как-то не прельща-

ют. Приходилось, конечно, пользоваться, и все как-то зажато себя чувствовал, неудобно.

Входишь нагибаясь, задевая колени уже сидящих, пробираешься к свободному местечку и стараешься как-то там примоститься между ведром с грязной тряпкой и пыльным колесом. Это уж так для удобства пассажиров заведено — непременно в салоне «маршрутки» тебя будут ждать ведро с тряпкой и лежащее рядом колесо. И как-то неудобно ногам на этой «запаске». И есть вроде бы выход: разместиться впереди, с водителем рядом, но и тут случается всякое. Тесновато, конечно, тоже, если еще кто-то присоединится. Оказываешься, как говорится, между двух огней. Водителю мешаешь скорости переключать, — поджигаешь ноги, втягиваешься. И все бы ничего, дотерпел бы, доехал, раз оказался в таком капкане, даже в сопровождении блатного «шансона», да только еще и сам водитель может какой-нибудь номер выкинуть, так подчас огорошит, что не сразу найдешься.

Сажусь однажды вот так впереди — на улице мороз, скорей бы в теплый уголок забиться, — а водитель вдруг спрашивает меня: «Дома холодильник так же закрываете?» Внятно так, спокойно; радио не орет, мне хорошо слышно. «Что?» — выдохнул я, не понимая. А он снова: «Я говорю, дома...» — и с каким-то вызовом на меня смотрит, пренебрежительным превосходством, словно ждал меня заранее, приметив мою фигуру, бегущую к остановке. И лицо у него такое довольное своим недовольством. Я еще и отдышаться не успел, но наконец-то понял, про что он. Как только хотел спросить: «Какой холодильник?» — так сразу и понял и потому промолчал.

Ну ничего, ладно; не зная, о чем тут можно спорить, молча смотрю прямо перед собой, переживая свою езду в этом тряском «холодильнике». Он рулит дальше, а сам поглядывает на меня, как бы раздумывая, что бы ему еще такое со мной сотворить. И вроде бы я нормально дверь закрывал за собою, не хлопал, хотя очень часто как раз наоборот просят сильнее хлопнуть. К чему бы все это?

В общем, чтобы не пришлось мне больше задаваться подобными вопросами, я перестал пользоваться маршрутками. На трамвае все-таки как-то надежнее и спокойнее. К тому же простор внутри. Главное, что нет прямого контакта с вагоновожатой, и ты не услышишь от нее никакого дурацкого вопроса и этих понукающих напоминаний: «Кто еще не перedal за проезд?» Она занята своим прямым делом и ни на что не отвлекается.

В трамвае я обычно сажусь по левую сторону движения; даже не знаю, почему так получается. Еду от вокзала по Кольцовской; на Девицком выезде трамвай в любом случае останавливается: либо красный свет на перекрестке, либо надо перевести рельсы. На моей памяти ни разу не получалось проехать без остановки. И, значит, стоим. Передняя дверь отъезжает назад. Из кабины водителя показывается женщина в плотной жилетке с ломиком в руке. Она выходит на мороз, чтобы выправить путь. Быстро возвращается в клубы пара, ладонь левой руки прижав к горлу, обмотанному шарфом. Раздается звонок, трогаясь. У цирка поворот на Моисеева, еще немного вперед и налево, на Краснознаменную. И тут я понимаю, почему сажусь слева — оказывается, это прячется во мне уже давно, словно я до сих пор так и не разгадал какую-то загадку.

Вот она причина, в этом самом месте, где трамвай сворачивает налево и словно втискивается — так кажется, почему-то — между двумя со-

седними домами. Именно в этот момент, когда трамвай делает поворот, я поднимаю голову и выворачиваю ее назад — за уходящим углом дома, его фасадом; там, в череде окон верхнего этажа я хочу поймать блеск солнца, чтобы вспомнить то смутное чувство узнавания, близкое к детству.

Кажется, это было летним вечером и только в такое время и могло произойти. Когда люди шли с работы, и солнце клонилось к асфальту. В нагретом воздухе разлита приятная усталость и хранится ожидание чего-то. Разные шумы, звуки, посторонние голоса уже складываются в одну общую картину жизни, в которой только начинаешь осваиваться и еще не ведаешь своей участи. Внезапный высверк солнца в верхнем окне разом придает всему хаотическому движению смысл. Ты просто поднимаешь голову — случайно, отвлекшись от чего-то — и это происходит: скользким, жарким блеском в стекле отражается солнце. Это происходит только с тобой. И вдруг представляется в это мгновение, что знаешь о жизни наперед что-то такое, чему и слов не найти. Вдруг осознаешь ее размеры и высоту, так, что голова может закружиться от этого знания, от этого бессмертия, вынести которое никому не под силу. Ты ловишь этот блеск как признание. Ты вникаешь во все сразу — словно ты что-то знал прежде, в другой жизни, но потом позабыл и теперь вдруг вспомнил по случаю. Все вдруг открылось и стало близким и понятным; как это, оказывается, просто, вот так все сразу узнать!

Возможно, ты сидел на коленях у отца. Вы возвращались откуда-то домой. Ты устал, и в этой усталости было что-то хорошее. Наверное, в руках у тебя была какая-то игрушка в коробке, купленная в магазине. Поглаживая коробку, ты беспечно болтал ногами, напевал что-то и вдруг повернул голову к окну, поднял глаза и скользнул взглядом по верхнему этажу дома, мимо которого проезжал трамвай...

Сколько раз потом я пытался вернуть это чувство: когда трамвай заворачивал от цирка, поднимал голову в надежде поймать этот блеск; думал о том, под каким углом во время поворота к дому дребезжащее трамвайное стекло должно совпасть с окном на последнем этаже, и, конечно же, думал про солнце, скатывающееся к горизонту; подбирал погоду, день, чтобы совпали все признаки, но ничего не совпадало — ни день, ни час, ни минута, ни та прежняя насыщенность жизни. Это было чудо, про которое можно только вспомнить, что оно было, но почувствовать его во всей полноте, повторить его, *узнать*, уже невозможно.

Ничего подобного с тех пор со мной не происходило; мне не удавалось поймать мгновение, в которое вмещался бы целый мир, и я не совершал никаких открытий.

Теперь, если что и случается, то каким-то приземленным выходит, по смехотворному поводу, и поражает разве что своей бессмысленностью, и даже в своей напыщенной серьезности сквозит пустяком; все оказывается снаружи, а не внутри.

Я снова ехал по привычному маршруту. Зима, ближе к ночи — и время года не то, и время суток. И все равно при повороте к знакомому дому у цирка (и с чего это я взял, что здесь тесно?) инстинктивно поднимал голову, чтобы совместить некую тоску с ушедшим, невозвратным началом. В окнах был свет, но не было промелькнувшего блеска. Я словно хотел протиснуться куда-то, но у меня ничего не получалось.

Дальше поворот направо — и теперь какое-то время по прямой. За окном получается что-то увидеть: одноногие горбатые фонари выхватыв-

вают под собой полосы свежего искрящегося снега. В вагоне, кроме меня, еще три человека. Каждый сам по себе: у передней двери женщина пенсионного возраста в громоздком пуховике с капюшоном; сзади нее, через два ряда, неприметный паренек в курчей, несмотря на мороз, курточке, руки в карманах, лицом уткнулся в тощий шарф; а по моей стороне, после них, но на два места впереди меня, согнувшийся над пакетом с каким-то барахлом старик в драном кожухе — из тех, отринутых обществом, одиноких людей, у которых вряд ли есть постоянное жилье и которым не важно, куда ехать, главное, чтобы было не так холодно; мороз, к счастью, убивал все возможные запахи, и о них можно было только догадываться. Я, стало быть, сзади всех, как раз напротив задней двери.

Выезжаем на простор; вагон наконец разгоняется и кажется, что он уже утратил рельсы и просто мягко летит по снежной пелене, пушит по сторонам снежком и, раскачиваясь, несется в темноту, оставляя за собой сиротливые придорожные столбы.

Давно уже на остановках никто не входил и не выходил. Ехать еще прилично; уже и в сон меня потянуло, пригрелся. И вот вдруг кто-то поднимается в отъехавшую вперед дверь. Я отворачиваюсь от окна — из ледяной, дышащей снегом темноты, из неугаданного, лишнего каких-либо ориентиров места прямо передо мной возникает странный человек. Странность его определяется по одной только обуви. Я смотрю вниз, на его ноги, и вижу лакированные остроносые туфли на каблуках, изящной работы, коричневые, с томным, паркетным блеском, судя по всему, летние, так что сразу же встает вопрос: как же их обладатель пробирался к остановке по этим непроходимым сугробам, сопровождавшим трамвай на всем пути, как вообще не замерз? Но выше было еще интереснее. Узкие, тоненькие жаккардовые брючки цвета «индиго» с агрессивным, насыщенным оттенком, с пустой, даром отвисшей попкой и какими-то цепочками. И главное, одежда — то, что я назвал бы камзолом, если бы точно знал, что это такое. Во всяком случае, нечто подобное, совсем не повседневное, а торжественное, для какого-то строгого, священного ритуала и обеспечения регалий. Темно-зеленый, отдающий в благородную синеву, с тайным светом бархат; похоже на мундир с золотым позументом, который к тому же украшен тесьмой и дополнительными знаками различия неизвестных степеней и свойства. Кажется, еще бант был или жабо, не разглядел, — он уже повернулся, прошел дальше, взялся за поручень голый, без перчатки, рукой.

В профиль видно лицо: спокойное, занятое, прямой нос, тонкие губы. Сам парень высокий, жилистый. На голове наборная, трехцветная бейсболка, годная разве что для осени. И совсем не холодно ему, или только делает вид, хотя попробуй сделать на таком морозе; однако не дрожит, стоит ровно. Только раз снял бейсболку и почесал затылок, показав ухоженную голову с блестящими волосами, чем окончательно напомнил то ли какого-то стилиста, то ли визажиста — разукрашенного, «звездного», — словно сбежавшего с телешоу в провинцию на кратковременные каникулы, чтобы отдохнуть от гламурной суеты.

Но недолго мне пришлось им любоваться. На следующей остановке в переднюю дверь, стуча ботинками, стряхивая снег с одежды рукавицами, похожими на лопаты, поднимается новый пассажир. На нем невыношенный ядовито-камуфляжный бушлат с меховым воротником, такого же цвета плотные штаны, заправленные в высокие, с вывернутым наружу мехом, тупоносые ботинки со шнуровкой. Он в серьезной зимней шапке —

большой, пушистой, таежной. Словом, колоритный, но вполне возможный персонаж, в отличие от невероятного, вошедшего в трамвай остановкой раньше, «стилиста».

«Таежник» шагнул прямо от двери, взялся за поручень и, как водится, огляделся по сторонам; он скользнул взглядом дальше, в конец вагона, мимо меня и, выворачивая шею, вдруг *увидел*. То, что он *увидел*, его озадачило и напрягло. Я же заметил, что его тоже *увидели*. В его небритом лице выразилась какая-то идея. С предчувствием беды я повернул голову в сторону «стилиста», лицо которого, как оказалось, было одержимо идеей прямо противоположной.

Они увидели друг друга, и что-то промелькнуло в их лицах — напряжение, враждебность. Они вдруг застыли, как два заметивших друг друга на улице пса. У «стилиста» заходили желваки, расширились крылья носа. Только что он был потешным участником нелепого карнавала и вдруг зримо представился искушенным, на взводе, бойцом. «Таежник» смотрелся не менее свирепо.

Долго так продолжаться не могло. Скинув рукавицы, он бросился навстречу своему сопернику, потому что тот тоже побежал. Две странные фигуры сшиблись посередине трамвая. Началась возня — с судорожными лицами, с учащенным дыханием. Они поворачивались и так, и этак. Бешено топтались, хватая друг друга руками. То «стилист» напряженной ладонью запрокидывал «таежнику» подбородок кверху, то «таежник» тянул «стилиста» за ухо вниз. Объятия были непримиримыми, смертельными. Наконец они расцепились и отпрянули друг от друга. «Таежник», ухватившись обеими руками за поручни, протянувшиеся вдоль прохода, качнулся на манер обезьяны и, набрав силу, въехал «стилисту» в грудь своими суровыми ботинками, которые я видел однажды в телерекламе, — с рифленой такой подошвой и названием, напоминающим о каком-нибудь внушительном танке или скоростном боевом истребителе. В груди «стилиста» что-то треснуло — кажется, лопнул камзол. Он отступил назад, но устоял; потом ринулся на своего обидчика с удвоенным пылом и крепко припечатал ему кулаком в подбородок...

Красный ребристый трамвай уходил в снежную ночь, а в его салоне разворачивалась непонятная битва. Станным образом на всем протяжении схватки никто из противников не проронил ни слова. Еще более удивительным было то, что при всем размахе и свободе борьбы, они никого не задели и не возмутили, если не считать женщину у передней двери, которая, желая узнать, что за странные звуки раздаются за ее спиной, пыталась опасливо оглянуться, но никак не могла это сделать из-за злополучного пуховика с капюшоном, сковавшего ее, как панцирь. Парень, уткнувшийся в шарф и примостившийся у окна, спал и был надежно укрыт от окружающего мира. А старичок в потрепанной одежонке, как ни в чем не бывало, запускал руку в свой мятый пакет и изредка хмыкал — то ли в знак одобрения происходящего, то ли от собственного независимого расположения духа.

Все это кончилось так же неожиданно, как и началось. Трамвай вдруг дернулся на месте, его двери отъехали. Образовавшие в этот момент единое и неразрывное целое бойцы клубком выкатились на переднюю площадку, к открытому и холодному пространству, и исчезли в пустоте ночи.

Двери вернулись в прежнее положение, и трамвай двинулся дальше. Сколько времени заняла эта схватка? Минуту? Две? Сообразить это было невозможно. Женщина в пуховике наконец-то сумела подняться. Она

строго оглядела оставшихся пассажиров и, не обнаружив ничего предосудительного, вышла на следующее остановке. Потом очнулся парень в короткой куртке, благополучно все проспавший, но, кажется, так и не выпавшийся. Сутулясь и зевая, он спустился по ступенькам.

А вот и конечная. Пора выходить мне и старику. Я встаю и замечаю на полу что-то интересное. Поднимаю. Пуговица, кажется, медная, с бархатным оторвышем. А еще волчий клоч от шапки — от уха, с завязкой. Старик довольно восклицает: «Красиво дрались, черти!» Он неожиданно беззвучно смеется и поднимает руку ко рту. На его губах остаются крошки от булки. Конечно, хотелось бы все это определить как жестокую забаву, но что-то не определяется.

На улице стало еще холоднее. Проваливаясь на стороны в снег, я пробираюсь по узкой и прерывистой, проложенной кем-то тропке. Впереди меня ждут большие дома, в которых светятся окна; там будет тепло, я надеюсь, и обязательно отвлекут какие-то дела. Но пока что я оборачиваюсь и смотрю на старика. Он не спеша, без дороги, удаляется от меня — за город, к темным соснам, скованным морозом, верхушки которых присыпаны снегом. Ветер дует ему в спину, тербит его пакет. Кажется, что он движется наугад. За соснами поле, а за ним поселок. Там тоже есть дома, и в них светятся огоньки. Туда? Наверное.

Трамвай стоит. Ему надо возвращаться в депо. Что-то важное случилось вокруг, не сейчас, еще раньше, а я пропустил, не придавал этому значения. И тут мне вдруг представляется, что у этой ночи обязательно есть название, как оно есть у каждого дня. И может быть, я его узнаю или вспомню. Я еще не знаю, что летом трамваи в нашем городе прекратят свое существование; часть путей, в центре, разберут, а оставшиеся рельсы будут ржаветь и зарастать травой.

## ПУШИНКА

Людей сближает разговор, а они молчали. Теперь и вспомнить было невозможно, из-за чего все началось. Длилось так уже второй месяц.

Он вставал раньше обычного, — надо было ее опередить. Прислушивался к звукам в соседней комнате. Тишина поздравляла его с ущербным первым местом. Дверь в коридор была закрыта; он негромко включал телевизор, пытаясь в утренних новостях найти себе утешение, — где-то случались катастрофы, люди жили несомненно хуже, чем он, — и принимался неловко бороться с гантелями.

Потом осторожно выбирался в коридор. Пол все равно предательски скрипел, и он замирал у ее комнаты. Дверь была неплотно прикрыта (редкая оплошность), небольшая щель позволяла ему узнать главное, — она спала. Полоска утреннего скупого света раздвигала полумрак комнаты как раз на ее голове, повернутой к спинке дивана. Он успел заметить копну темно-рыжих волос и прятавшее ее одеяло. Увиденное почему-то убеждало его в том, что ночь не принесла ей отдыха и спать она будет еще не меньше часа.

Он зажигал газ на кухне и ставил чайник на плиту. Воду в чайник набирал заранее, перед сном. Старался вообще, как можно меньше производить звуков. Осторожно открывал холодильник, доставал тарелку из навесного шкафчика, ставил чашку на стол. Успевал отлучиться с кухни, чтобы умыться, и возвращался как раз к тому моменту, когда возбужденный чайник собирался выдать свое пронзительное соло.

Ел сдержанно и скромно, словно готовясь к выполнению какого-то задания. С той же отработанной выдержкой мыл посуду и, глядя на сбегаящую в воронку мыльную воду, думал, что молчание в отличие от воды никуда не исчезает, а продолжает висеть над ним тянущим душу грузом. Если раньше ему было интересно, сколько это продлится, то теперь его занимало только одно: когда это закончится? Казалось, что молчание в их квартире прописалось навечно.

Причин было несколько. Мелкие детали, незначительные поводы — все это где-то пряталось до поры до времени, пока вдруг не сгодилось для резкого выяснения отношений. Он был спокоен, она сказала «равнодушен». Она и начала первой. Она назвала его «ничтожеством»; не оставаясь в долгу, он ответил ей «дурой несусветной». Последующие слова проносились уже не ими, а какими-то дошедшими до края персонажами с базара или тюремной пересылки, — опустившимися, оголтелыми.

Все разом развалилось. Она сказала, что устала. Почти двадцать лет она терпела, ждала чего-то. Она устала экономить. Так и сказала: «Я устала, что у меня нет денег».

Вот и причина, вот источник несчастья.

Они не сразу замолчали. Еще произносилось несколько фраз за день, но уже в раздраженном тоне. Оба цеплялись за любой предмет, продвигаясь к очередному обострению.

Деньги, деньги... Почему их всегда либо нет, либо не хватает? Это слово не произносилось ими вслух, зато засело теперь и в его голове. Я тоже терпел, подумал он, достаточно. Однажды дошло до того, что на ее вопрос: «Почему ты посуду не помыл?», он ответил без тени улыбки: «Денег нет».

Она приучала его быть виноватым, хотела показать, что он не хозяин в доме.

Поначалу еще они ели вместе. Молчание созрело в них для наглядного укора. Они сидели за кухонным столом, опустив головы, и словно пытались справиться с бедой, неожиданно свалившейся к ним в тарелки. Их разделяли искусственные цветы в стеклянной вазе. Она поставила их специально, чтобы заслониться от него. Каждый молчал о своем.

За окном стоял неумолчный уличный гул; приглушенный, он держался на одной деятельной ноте, пропускавшей стук женских каблучков, чьи-то восклицания и даже смех. Там была жизнь, а здесь ее ловко имитировали в тянущихся в разные стороны палевых, фиолетовых и розовых бутонах, разрывные зевы которых были заполнены бесплодными семенами.

На подоконнике скрюченными пальцами, усеянными мясистыми листьями, дыбилося денежное дерево. Он вычитал где-то, что правильно оно называется *Crassula ovata*, должно приносить в дом достаток, в Африке вообще цветет, но денег все равно не было, а в Африке голодали.

Долго эта демонстрация упрямства продолжаться не могла. Они верно оценили свое молчание и, не стовариваясь, убрали из него фильма изображение.

Сразу стало как-то пустынно. Возникло напряжение другого рода: чтобы попасть на кухню или, скажем, в туалет, надо было предварительно убедиться, что там никого нет. Они и прежде уже не видели друг друга, а теперь и вовсе не захотели встречаться.

Он пил чай, когда услышал, что она прошла в туалет. Он кашлянул, чтобы обнаружить себя и даже звякнул ложкой в чашке, на всякий случай, хотя мог бы этого не делать, — она и так знала, что кухня занята.

Он заявил о границах своей территории, но когда она перешла в ванную, понял, что ему пора убираться. Собственно, он уже закончил свой нехитрый завтрак — в этот раз он состоял из яйца всмятку, двух кружков паштета на хлебе и бутерброда с сыром. В прошлый раз завтрак был почти таким же.

Продлевая и расширяя молчание, как акт протеста, она перестала готовить, как прежде, — просто отпала такая необходимость. Она легко обходилась малым, предоставляя ему самому позаботиться о себе. Очевидно, хотела подвигнуть его на какие-то действия, но он тоже уперся. К тому же он подозревал, что если бы вдруг решился узнать, почему она перестала готовить, то услышал бы в ответ ядовитое: «Потому что денег нет».

Это точно, болезненно согласился он, я действительно ничтожество, если позволяю с собой так обращаться. С опозданием исправляя прошлое, он подыскивал в уме более убийственные определения, которые мог бы бросить ей в лицо. И вдруг загнулся, вспомнив про «дуру несусветную». Даже сам удивился. И откуда только выскочило такое? Почему «несусветная»?

Как-то вечером, тяготясь пустым временем, он сделал попытку к примирению, — все же устал он неопределенности. Скорее надеясь на беспаштанную случайность, чем на серьезный разговор, набрался духу и неожиданно вошел к ней в комнату. Сметая при этом искусственную преграду, пластиковую баклажку, заполненную водой из-под крана, — ею она изнутри подпирала дверь, чтобы не оставалось ни малейшей щелочки и никакой надежды.

Она никак не отозвалась на его вторжение. Просто лежала на диване, скрестив ноги, и смотрела телевизор. Домохозяйка. Он обернулся к экрану и, маскируя свою неловкость развязностью, спросил невпопад:

— Ну, что тут ведущие собаколовы рекомендуют?

На ее непроницаемом лице плясали отблески нелепого телевидения. Рекламная пауза. Шутка не удалась. Как это глупо — часами пялиться в телевизор.

— Не буду мешать.

Досадуя на себя, он наклонился, чтобы поднять с пола булькнувшую бутылку и найти ей приблизительное место пограничного столба. Ему пришлось задом пятиться в коридор. Дверь за собой он прикрыл подчеркнуто осторожно.

Теперь никто никому не мешал. Молчание дисциплинировало. Не издавая никаких звуков, они были вынуждены слушать чужие. Соседи наверху почти каждый день включали пылесос. Надсадный хрип, переходящий в затяжной вой, сопровождался ожесточенной возней щетки, и казалось, что это пол втирают в потолок. Даже странно было: неужели у них так грязно, что всякий день надо посвящать борьбе за чистоту? Или это происходило не только у них. Сначала одни включали, а в другой раз соседи повыше или, наоборот, ниже... Понять невозможно: безутешный вой пылесоса всегда оказывался одинаковым, — у него отсутствовал свой голос.

Молчание становилось каменным, непробиваемым. Вечерами у нее случались невыносимо длинные разговоры по телефону с подругой. Его это задевало. За стеной, оклеенной постаревшими желтоватыми обоями под абстрактную роспись, она смеялась, была свободна — как когда-то. Переспрашивала что-то, недоумевала, уже и повизгивала от задорных сплетен. Он тоже недоумевал: как это у нее получается — и молчать, и

разговаривать одновременно. Он так не мог. Его это бесило. Ему поговорить было не с кем.

Его немногочисленные друзья и знакомые разъехались кто куда — их попросту не было в городе. Один отдыхал за границей, другой охотился, третий завершал сезон на даче...

Впрочем, имелся у него старый друг со школьных еще времен. Они редко виделись — так выходило. Последний раз весной, в марте. Рома приехал к нему утром в выходной день на своей машине, чтобы отвезти его на кладбище, — проведать могилу матери. И хотя они договорились, он проспал. Жена как-то торопливо впустила Рому к нему в комнату, словно боялась, что он может куда-то улизнуть и Рома не увидит самого интересного, — а он, уже проснувшись, еще лежал в постели, укрытый небольшим мягким и тонким ковром вместо второго одеяла. В холодной квартире спать под ковром все же уютней.

И тут вышла сцена. Рома в недоумении, в черной кожаной куртке, плотный белый свитер вылезает из рукавов, на голове кепка, сзади она довольно хихикает, и он, застигнутый врасплох. Оглядев его как некий безжизненный предмет, Рома спросил:

— А что это он ковром накрыт?

Вот к нему вполне можно обратиться, чтобы поговорить по душам, — друг все же... Хотя Рома был со странностями, в том смысле, что всегда оставался веселым, как уже и быть не могло, — с самого детства и до сегодняшнего срока. Люди менялись с возрастом; тот, кто слыл шутником, рубахой-парнем, спустя годы оказывался заезженным жизнью нелюдью, в лучшем случае, тихим и немногословным гражданином с брюшком. Обратных случаев почему-то не наблюдалось. А тут какое-то подозрительное постоянство. Рома светло и празднично находился в одной поре, словно не испытал он в своей жизни никаких разочарований и потерь. От всех невзгод он отделивался смехом.

Значит, Рома, решил он. Этого-то ему сейчас как раз и не хватало, — посмотреть, как веселятся люди.

И он позвонил ему. Рома сразу же обрадовался, — он тоже приободрился. Назначили встречу через два часа.

Стоял ясный октябрьский день на перепутье, с уже обязательным холодком и быстро стынущей теплотой дня. Он вышел на улицу и почти сразу же наткнулся на рекламный щит, выросший из вороха опавших листьев недалеко от автобусной остановки. С удивлением прочитал внизу: «Низкий вам поклон!» А уже спустя две секунды, подойдя ближе, разглядел, что там написано: «Близкий вам банк». Это его немного смутило: разве может произойти такой обман зрения? Но потом и развеселило немного.

Он всматривался в лица людей, попадавших ему навстречу, — хотел увидеть, как они шевелят губами, услышать, что они говорят. Прохожих, как назло, было мало, а те, которые попадались, молчали. Им тоже не с кем было разговаривать. Они просто шли поодиночке по каким-то своим делам. И редкие пары не желали тратить попусту слова. Даже дети, что было и вовсе странно. Он заметил маму с ребенком. Мальчику было лет пять. Мама тянула его за руку, она ровно и спокойно глядела прямо перед собой, а он не хныкал, не канючил, не задавал вопросов, вообще не издавал никаких звуков, а только зачарованно рисовал что-то взглядом на асфальте.

Так он добрался до условленного места, школьной спортивной пло-

цадки, где они давным-давно занимались физкультурой и сдавали какие-то нормы.

Рома был в своем репертуаре. Он весь происходил из того времени, которое закончилось. На нем были мешковатые, когда-то коричневые, вельветовые штаны с залысинами, битые, в серых трещинах, кроссовки неопределенного цвета, куртка, не подлежащая разумному описанию. Сверху крепко сидела черная, с вихрами, голова без единого седого волоска. Морщинки на лице странным образом соответствовали трещинам на кроссовках. Было понятно, что этот парень прошел в жизни славный путь.

Из того же времени была и пыльная, темно-вишневая «девятка», из которой он вылез, похожая на добротный провинциальный гроб, слаженный по росту.

Все спасала его широкая улыбка.

— А я не один! — радостно заявил Рома и протянул свою грубую, шершавую ладонь для пожатия. Открылась дверца и из машины выбралась его жена. Ее маленькую фигурку прятало пальто яркого кричащего тона в стиле «ядерный рассвет».

— Здравствуйте, — сказала она.

Кажется, он видел ее второй раз в жизни. В общем-то, они правы, подумал он, здесь надо одеваться приблизительно и жить приблизительно.

— Здравствуйте. Погода сегодня замечательная.

Он скромно улыбнулся, — широко у него не получалось никогда.

— Ну да, замечательная, — согласился Рома. — Что-то у меня голова болит. — Он вздохнул и притворно взялся за правый бок.

— Ты таблетку пил? — спросила жена.

— Чтобы таблетки пить, надо, знаешь, какое здоровье иметь, а я...

Рома рассмеялся. Жена вернулась к машине. С возрастом они стали моложе. У них было трое детей, с собой захватили одного, самого младшего. Резвый мальчик в дутой курточке и смешной шапочке с завязками у подбородка сразу полез в песочницу рядом с железным турником. Мать отправилась следом.

— Ну как у вас? — спросил Рома.

Он пожал плечами:

— Да никак.

— Кому никак, а для меня пустяк... «Она работала в институте высоких технологий, он преподавал на кафедре физики низких температур, — продекламировал Рома. — «Как это в вас уживается высокое и низкое?» — спрашивали у них». — Он снова рассмеялся. — Слушай, а в чем проблема?

— Денег нет.

— Совсем?

— Не совсем.

— А-а... — протянул он, начиная соображать. — И сколько же тебе надо?

— А ты помочь, что ли хочешь? — поинтересовалась жена. Она вернулась, держа в руке пластмассовое детское ведро.

— Мама! — позвал ее сын.

Она обернулась:

— Я сейчас!

— Ну, подожди ты, — загудел Рома. — Дай человеку сказать!

— Пожалуйста, — согласилась она, отдала зачем-то Роме ведро и зашагала к песочнице.

— Я и сам не знаю. Это не меня надо спрашивать.

Он действительно не знал, в чем проблема.

— Говорят, сейчас большие возможности, — сказал он наугад.

— Для того, чтобы спиться, — добавил Рома.

— Но ты же не спился?

— Я... — Он довольно хмыкнул и кивнул в сторону турника. — Разве мне позволят?

Там шла какая-то игра. Ребенок что-то искал. Ведерко, догадался он.

— А у тебя сын... — подбирал слова к вопросу Рома. — Я забыл...

— Игорь. Учится на первом курсе, в Москве.

— А ты Пашу Стрелкина знаешь?

— Нет.

Ребенок, не найдя пропажи, заплакал. Мать присела рядом на корточки. Она вытирала ему слезинки.

— Пашу не знаешь? — удивился Рома и принялся рассказывать сбивчивую историю про этого Пашу и его дочь-отличницу. Он слушал его и понимал, что во всем этом рассказе самого Рому больше всего интересует именно Паша, точнее, его имя, — оно ему просто очень нравилось, да так, что он упоминал его на разные лады чуть ли не через слово.

— Смотрю, а это Паша по набережной чешет, только брючки свистят! Я зову: «Паша! Паша!...»

Он вспомнил, что Рома уже как-то рассказывал ему какой-то анекдот про совершенно другого Пашу, и в нем тоже Паша занимал главные места в каждом предложении. А еще вспомнил по себя, про то, что вот он тут разговаривает, а где-то там, дома, сгущается и каменеет их общее молчание, даже когда и она в данную минуту говорит с кем-то, смеясь, по телефону или встречается, как он, — оно становится только крепче.

— Так это же Паша! — восклицал Рома, встряхивая ведерком.

— А вот и ведерко! — радостно отзывалась жена, подводя к нему сына.

Рома безостановочно говорил, — округлял глаза, откидывался назад телом, разводил руками, даже присел однажды... В его пересказе мир был полон интересных событий. Он свободно разбирался в жизненном хаосе, был рулевым, лоцманом. Сыпал прибаутками, деталями, названиями предметов. Было видно, что жена рада тому, что он у нее такой веселый, и что она несколько не устает от его напора. Они обменивались замечаниями, значений которых он не понимал, и радовались друг другу.

Есть же счастливые люди, думал он, и объяснял себе Рому так: когда он знает, как все вокруг называется, ему легче жить, он просто умеет это делать.

Слушая его, он половину пропускал мимо ушей, ему достаточно было настроения, а Рома в своем беспорядочном повествовании уже подобрался к жене.

— Я сижу с паяльником у телевизора, а тут она с кухни заявляется: «Там, говорит, под окном, на карнизе, голубь полудохлый сидит». Я ей говорю: «Ну и что?». Она мне: «Он весь большой и заразный, а у нас дети. Если тебе на детей не наплевать, убери его...» Обхохотаться можно. Бросаю все, чуть не матерюсь, иду на кухню: и правда, сидит голубь за окном. «Ну и что? — спрашиваю ее. — Тебе делать больше нечего? А мне есть чем заниматься...»

— Мне тоже было чем заниматься, — вмешалась жена. — Я твою рубашку чистила и гладила, она у тебя в тряпку почти превратилась.

— Это все ерунда, — весело поморщился Рома. — Вещизм. Выкинул — новую купил. Главное — отношения не испортить.

— Смотря как к вещам относиться, — терпеливо объясняла жена, — их еще легче испортить. Отношения можно восстановить, а вещи...

— Ладно, — согласился Рома, обращаясь уже не к ней. — А жара в квартире была страшная! Все же середина апреля. Только отопление никак не отключают. Мы все окна и форточки пооткрывали, — бесполезно. Мне-то ничего, я переживу, а ей невыносимо — душно и тяжело. В общем, всю душу из меня вытянула, как будто я виноват!

Рома рассмеялся, а жена ему подыграла:

— А кто же еще?

— Ладно, — продолжил он. — Дня три проходит, и отопление, наконец, отключают. Я ей говорю: «Радуйся, отопление отключили». А она мне: «А что толку, там голубь теперь живет...»

— Ну да, — просто сказала жена, обращаясь уже не к нему. — Он у нас душевно ранен, а я в другое место.

Рома и она улыбнулись, демонстрируя несомненную близость. Невольно пришлось и ему это сделать.

Рома заерзал, жена потянулась к нему и вдруг сказала:

— Ну-ка повернись...

— Что там?

— Что-то пристало к тебе... Пушинка какая-то. — Она сняла ее с куртки. — Смотри, какая большая. Прямо невеста к тебе прицепилась. Вся в белом.

— Придумаешь тоже.

Они обнялись, а он хотел сказать им, — это моя невеста. Молчание. Отношения. Пушинка. Так он ее называл когда-то. Она была настоящей пушинкой, и как же они потяжелели за эти годы! «Ты моя пушинка...» Еще каких-то пять лет назад было вроде бы неплохо. А потом все рассыпалось. Чем он только не пытался зарабатывать на жизнь...

Он вдруг заторопился. Рома предложил подвезти: «Мне все равно в твою сторону, к теще надо», но он отказался, представив ему встречу в другом направлении.

— Блин горелый, а как же деньги? — спросил Рома.

Это какое-то затмение, психоз. Что на нее нашло?

— Ты же живешь.

Он улыбнулся, Рома коротко хохотнул. Расстались хорошо.

Это все от накопившейся усталости, оттого, что один и тот же пейзаж за окном. Как она выглядит? Он так давно ее не видел. Вдруг вспомнил: у нее сменился цвет волос. Она их покрасила. Когда? Главное — первые слова.

Он открыл дверь. Сразу все нарушив, они встретились в коридоре.

— Ты?.. — начал спрашивать он.

— Я... — попыталась что-то сказать она.

Их голоса были обращены друг к другу.

— Игорь звонил, в воскресенье приедет, — сообщила она. В ее глазах еще держались остатки обиды, но уже проглядывало и сожаление. Незбежность.

— Я знаю.

— Откуда? — Она удивилась, но сказала другое: — Узнаю тебя.

Им придется заново учиться разговаривать. Может быть, у них получится.